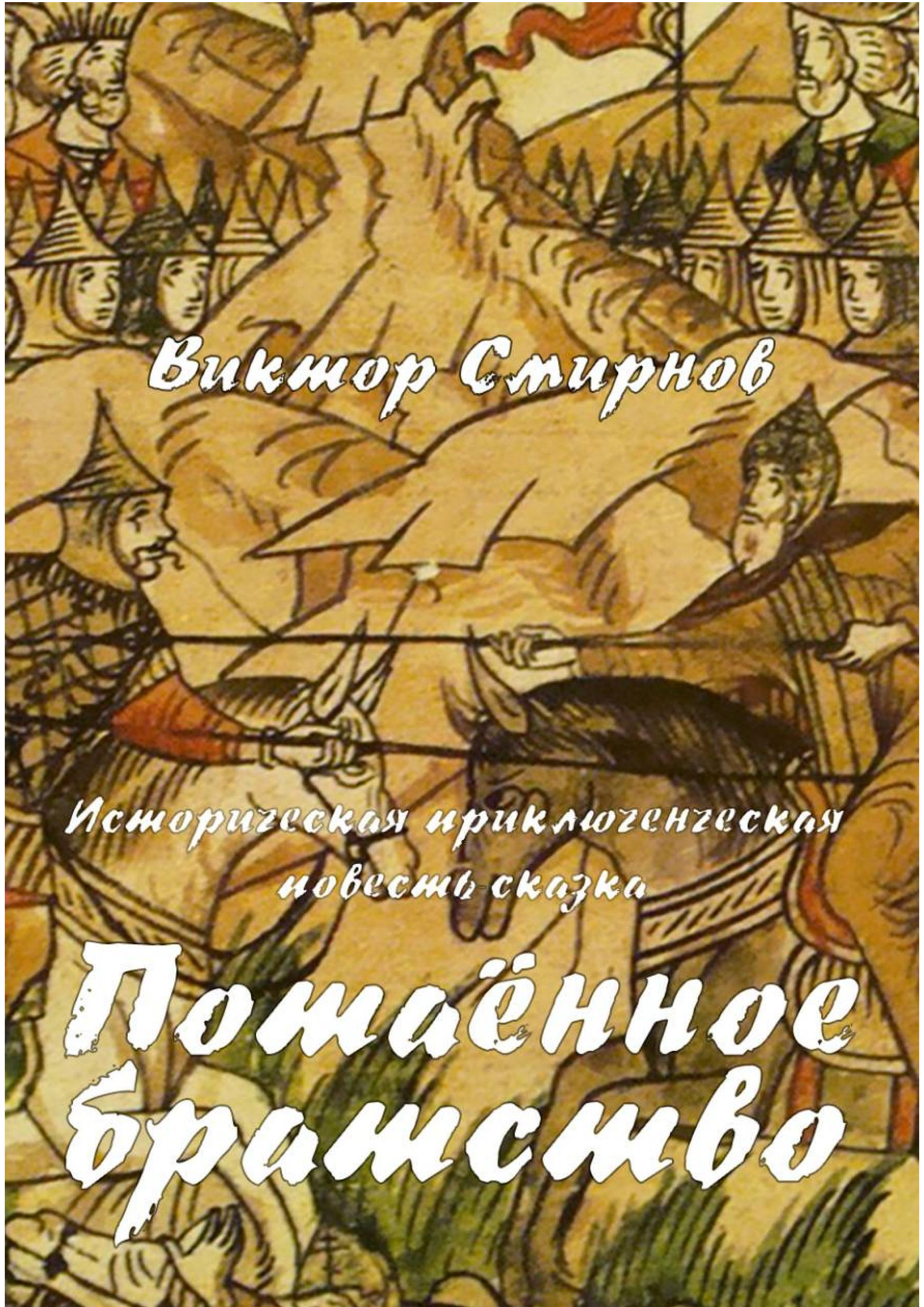




Виктор Смирнов

*Историческая приключенческая
новель-сказка*

Пошаённое братство

Смирнов Виктор
Потаённое братство

«Автор»

2026

Виктор С.

Потаённое братство / С. Виктор — «Автор», 2026

Русь под игом Орды. Мальчишка Варфоломей — тот, кого мы знаем как Сергия Радонежского, — растёт в глухой деревне и однажды уходит один, за три моря, в Поднебесное царство, к обители у Небесной горы — искать то, чего не может дать родная сторона. Возвращается он другим человеком. Дома он встречает Радомира и передаёт ему то, чему научился сам. Так вокруг них двоих понемногу собирается то, о чём говорят только шёпотом: потаённое братство — те, кто появляется ниоткуда, когда беда стучится в дом, и исчезает, не дожидаясь благодарности. Потаённое братство готовит мятеж против власти татарского Ига. Русь встанет против Орды на поле у тихого Дона — где инок Пересвет выйдет на поединок против Челубея, Дружба, тайны и поединки — историко-приключенческая повесть-сказка для семейного чтения и для читателей 12–16 лет.

© Виктор С., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава	5
Глава первая	6
Глава вторая	9
Глава третья	11
Глава четвёртая	13
Глава пятая	16
Глава шестая	19
Глава седьмая	22
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Смирнов Виктор

Потаённое братство

Глава

Виктор Смирнов

ПОТАЁННОЕ БРАТСТВО

Историко-приключенческая повесть-сказка

о Сергии Радонежском и Куликовом поле

◆ ◆ ◆

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ПОТАЁННОЕ БРАТСТВО 3

Глава первая. КОГО НЕЧИСТЫЙ ПРИНЁС? 4

Глава вторая. КРАСНОЕ УТРО 7

Глава третья. СЕЧА У ОЗЕРА 10

Глава четвёртая. ДВЕ СИРОТЫ 13

Глава пятая. ЧЁРНАЯ РИЗА 17

Глава шестая. СТРЕЛА 21

Глава седьмая. КНЯЗЬ ПРИХОДИТ К СТАРЦУ 25

Глава восьмая. ТРИ ДРУГА И БАСКАКИ 31

Глава девятая. ДОВОЛЬНО ИГА 36

Глава десятая. НАУКА ОДОЛЕНИЯ 39

Глава одиннадцатая. СТОРОЖА 42

Глава двенадцатая. ПРОЩАЛЬНЫЙ ХОРОВОД 45

Глава тринадцатая. СТРОЕМ НА ДОН 48

Глава четырнадцатая. ПЕРЕСВЕТ И ЧЕЛУБЕЙ 51

Глава пятнадцатая. ЗАПАДНЯ 56

Эпилог. ПОСЛЕ ГРОЗЫ — СВЕТ 60

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЗА ТРИ МОРЯ 63

Сказ первый. ОТРОК И СТРАННИК 64

Сказ второй. ОБОЗ ИДЁТ НА ПОЛДЕНЬ 68

Сказ третий. ГОРОД ТЫСЯЧИ ОГНЕЙ 72

Сказ четвёртый. ТРИ МОРЯ 81

Сказ пятый. ОБИТЕЛЬ У НЕБЕСНОЙ ГОРЫ 89

Сказ шестой, последний. ВОЗВРАЩЕНИЕ МАСТЕРА 99

СЛОВАРЬ СТАРИННЫХ СЛОВ 112

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПОТАЁННОЕ БРАТСТВО

Глава первая

КОГО НЕЧИСТЫЙ ПРИНЁС?

Темень стояла такая, какая бывает только в конце лета, в безлунную ночь: наверху — всё небо в звёздах, а внизу, на земле, — хоть глаз выколи. Ни огонька вокруг, ни отсвета.

Звёзды в ту ночь высыпали все, сколько их есть, — крупные, спелые, августовские: иная горит и переливается, как роса на острие колоса, иная сорвётся вдруг — и чиркнет наискось через полнеба. А под звёздами, невидимая, дышала тёплая земля: за день надышалась она зноем досыта и теперь отдавала тепло помалу назад — небу, травам, спелым хлебам. И пахла ночь так, как пахнет она только раз в году, в самую страдную пору: сухим колосом, мёдом отцветающих трав, тёплой дорожной пылью и дальней свежестью воды — не надышишься.

И не молчала ночь — ночь пела. В сочных травах на тысячу голосов звенела саранча, и звон её был так ровен, так вечен, что ухо переставало его слышать, как перестаёт человек слышать собственное сердце. Ухнул филин в дальнем бору — и стих, и от его уханья тишина сделалась только глубже. Прошуршала мышь в соломе — и замерла. Плеснула рыба в невидимой воде — и снова гладь. Спало всё: и вода, и травы, и птицы в гнёздах, и ветер спал, свернувшись где-то в лощине. Одна ночь не спала — стояла над миром, сторожила его сон да пересыпала из ладони в ладонь свои звёзды.

Тук.

Стук был негромкий, осторожный — косточкой по дереву. И, чуть погодя, ещё: тук-тук.

И тогда из самой черноты отозвался голос — сонный, ворчливый; да не со зла ворчливый, а по-дедовски: так ворчит старик, которого подняли с тёплой лавки, — сердится, а сам уже жалеет того, кто в такую пору под окном стоит:

— Кого нечистый принёс?

И тотчас ответил из тьмы другой голос — мирный, вполголоса, чтобы спящих не будить:

— Не поминай нечистого на ночь, хозяин, — не к нам он. Паломники мы, к святым местам идём. Пусти, Бога ради, переночевать: издалека бредём, подустали. Ничего, кроме ночлега, не спросим — свой хлеб едим — и с тобой разделим за доброту твою.

Голос был немолодой и ровный, будто мельничный жёрнов на малом ходу: слово к слову ложится, не спешит и не спотыкается. Худые люди ночью так не говорят: худой человек либо шёпотом сипит, либо горло дерёт. А этот говорил, как хлеб резал.

В темноте скрипнули половицы, глухо стукнули об пол босые ноги: дед Матвей — его это голос спрашивал про нечистого — кряхтя поднялся с лавки. Старику в своей избе и темень не помеха: прошёл, нигде не задев, нашарил у печи лучину, дунул на уголёк в горнушке — уголёк ожил, затеплился, — и по стенам качнулся первый алый свет.

Проступила из тьмы изба: длинные лавки вдоль стен, выскобленный добела стол, тёмный лик образа в красном углу, пучки сухих трав под потолком, тёплый бок печи. Проступил и сам хозяин — маленький, сухонький, борода серебряным веником, а глаза из-под косматых бровей — как две искорки от той же лучины. Он оправил рубаху и отодвинул засов:

— Располагайтесь с миром. Все спят у меня. Двери в этом доме всем добрым людям открыты.

— Ну и мы ляжем, не обременим, — ответили с крыльца. — Спокойной ночи тебе, хозяин, и дому твоему.

И вошли.

А стояла та изба крайней в деревне, на высоком холме над озером, — только не видать было в безлунье ни холма, ни озера: лежала внизу вода чёрным зеркалом и тихо перебирала в себе звёзды. Спало в деревне всё крепким хлебным сном: рожь кругом дозрела, налившая, усатая, назавтра всем миром собирались зажинать. И вот ведь чудное дело: ночных гостей не

услыхала ни одна живая душа — ни одна собака на всей улице не взлаяла. Это отчего же? Собаки в Заозерье строгие, чужого за версту чуют — а тут смолчали все до единой. И дедов пёс Полкан в сенях — вот диво — не забрехал: заворчал было спросонья, поднял ухо, а потом вдруг застучал хвостом по полу, будто свои пришли.

Алексашка, дедов внук, от стука проснулся. Проснулся — и лежал теперь на печи тихо-тихо, не дыша, а сам весь, с макушки до пяток, обратился в одно большое ухо да в два сорочьих глаза — вострых, цепких: что схватят, того уж не выпустят.

Вошло гостей семеро, и все — в чёрном. В долгих, до самых пят, тёмных одеяниях, каких в Заозерье не нашивали: не кафтан, не зипун, не свитка — а будто сама ночь наброшена на плечи да перехвачена у пояса простым вервием. На головах — глубокие дорожные башлыки; лиц под ними не видать, одни бороды. За плечами — скатки, в руках — посохи: у иных простые, а у двоих — длинные, в полный рост, тёмного дерева, отполированные ладонями до тихого блеска.

Но чуднее одёжи было другое: как они шли. Семь взрослых мужиков вошли в избу — а изба того и не заметила. Ни одна половица не скрипнула, ни одна лавка не охнула, ни один посох не стукнул об пол. Только огонёк лучины качнулся семь раз — посчитал гостей — и успокоился.

Первым вошёл тот, с жёрновым голосом, — и откинул башлык. Был он сед как лунь, борода надвое, плечи широкие, дорожной пылью припорошенные; а красному углу поклонился низко и легко, по-молодому. За ним кланялись и остальные — народ всё больше крепкий, кряжистый, с тяжёлыми работными руками. Расстелили свои скатки по полу рядом, у стола и вдоль лавок, — и легли тихо, как вода в берега.

А последним вошёл молодой.

Этот был не как все: худой, ростом невелик, из себя неказист — в толпе встретишь, не оглянешься. Он на пороге приостановился, чуть повернул голову — и постоял так, к ночи прислушиваясь, будто ночь ему что-то договаривала, а он дослушивал. Потом затворил дверь — беззвучно, как дыхание, — поклонился красному углу и лёг у самого порога, где сквозит и дует, где никто по доброй воле не ложится. Посох положил рядом, по правую руку.

И тут, при догорающей лучине, углядел Алексашка на том посохе, у самой рукояти, резаный знак: волну. Не крест, не птицу, не зверя лесного — волну, воду бегучую, три гребешка. Углядел — и запомнил: сорочий глаз, он такой.

А ещё — один из гостей, укладываясь, повернулся на бок, и под чёрным его одеянием глухо, коротко звякнуло. Дзынь — и смолкло, будто ладонью прижали.

Алексашка знал, как что звенит, — по этой части он был в Заозерье первый человек. Котелок о ложку звенит весело. Крест нательный о пуговицу — тоненько. Дедова коса в сенях, если задеть, — длинно и жалобно. А вот так — глухо, тяжко, кольцо о кольцо — звенит единственная вещь на свете. Такая у старосты в клети висит, от прадеда осталась: рубаха железная, кольчатая. Староста её по большим праздникам смотреть даёт, а трогать не даёт никому.

«Кольчуга? — подумал Алексашка, и сон с него слетел весь, до самого доньшка. — У паломников?!»

«Може, почудилось», — уговаривал себя Алексашка, зарываясь в дедов тулуп.

Он слушал, слушал — аж уши горели. Да только ничего больше не было слышно: гости дышали ровно, тихо, в семь дыханий, как один большой спящий зверь; сверчок за печью допивал свою песенку; за стеной, в сочных травах, сыпала звоном ночная саранча.

И мысли его, устав бояться, поплыли сами — туда, где полегче: во вчерашний день. Как Санька, сосед через улицу, выволок из озера сома в полруки, а сказал — в руку, и вся деревня поверила, потому что Саньке верят всегда, такой уж он человек. Как Санькин братишка Андрейка сложил про того сома песню, да такую складную, что к вечеру пела её вся деревня, и сом в песне вырос с телёнка. А завтра — нет, уже нынче — его, Алексашку, впер-

вой берут в поле со взрослыми, не колоски подбирать, а к самой жатве... Жатва, сом, песня... песня, сом... И плыл уже перед сонными глазами тот сом по чёрному ночному озеру, и была на соме — вот чудо-то — железная кольчатая рубаха, и звенела она тихонько: дзынь... дзынь...

Дед Матвей дунул на лучину.

И изба утонула во тьме — разом, вся, как камешек в омуте.

Глава вторая

КРАСНОЕ УТРО

Проснулся Алексашка ещё затемно — на этот раз не от стука, а по самой простой надобности: пить захотелось. Всегда у него так: днём ведро выпьешь — и не заметишь, а ночью за плотком через всю избу идти.

В избе стояла та же темень, только теперь обжитая, тёплая: дышали в семь дыханий гости, допиливал своё сверчок. Алексашка сполз с печи тихонько, переступил через спящих — семь раз сердце в пятки сходило и обратно возвращалось — и выбрался в сени, где в углу стояла дубовая кадка с водой и висел на гвозде ковшик.

У кадки сидел молодой.

Сидел на чурбачке, не спал — а просто смотрел в воду. В волоковое оконце сочился первый серый свет, какого и светом-то не назовёшь, и вода в кадке чуть отсвечивала, как оловянное блюдо. Молодой глядел в неё так, как дед на дорогу глядит, когда обоз с ярмарки ждёт: спокойно, а неотрывно.

— Пей, не бойся, — сказал он, не оборачиваясь, и голос у него был тихий-тихий, а слышный весь, до последней буковки. — Вода добрая.

Алексашка снял ковшик, зачерпнул, выпил. Осмелел.

— А ты чего ж не спишь, дяденька? Стережёшь чего?

— Слушаю, — сказал молодой.

— А чего слушать-то? Тихо ж.

— Тихо, — согласился тот и качнул головой на кадку. — Вишь, вода какая: ни морщинки. Стало быть, ночь добрая. Ступай спи, малый, покуда вода спит.

— А коли... — Алексашка запнулся, да сорочий язык сам довёл: — а коли проснётся она — тогда что?

Молодой впервой повернул к нему лицо. Молодое было лицо, худое, а глаза — серые, тихие, как та самая вода: глядят — будто слушают.

— А тогда, малый, держись за меня. Не заплутаешь.

И столько в тех словах было спокойствия, что Алексашка разом успокоился и сам — как в тулуп завернули. Влез обратно на печь, зарылся в дедово тепло — и досмотрел свой сомий сон до самого хвоста.

А ночь тем часом доживала последнее. Сперва посерело небо на восходе, и звёзды стали гаснуть — по одной, как гасят в большом доме свечи; потом за озером, за дальним лесом, занялась полоса — узкая, алая. Ещё не рассвело; ещё и первые петухи не пропели своего первого слова; ещё спала деревня вся, от края до края, самым крепким, самым сладким предутренним сном — ни огонька в окнах, ни дымка над крышами. Но мир уже знал, что идёт утро.

Первыми, как всегда, проснулись птицы. Пискнула спросонья в ветлах одна пичуга — неуверенно, вполголоса, будто спрашивала: пора ли? Ей отозвалась другая, третья — и пошло перекликаться по кустам вдоль озера. Смолкала помалу ночная саранча — сдавала свой пост дневным кузнечикам; прогудела над травами первая пчела, тяжёлая, деловитая, — проплыла по воздуху не спеша и опустилась в цветок, раскрывшийся навстречу солнцу. Озеро из чёрного сделалось сизым, задышало лёгким парком, и поплыл над лугами последний ночной туман — редел, таял, доживал своё. Рожь стояла стеной, спелая, усатая, и от предрассветного ветерка вздохнула вся разом — проснулась и она.

И только блеснул из-за края земли первый солнечный луч — тонкий, как золотая нить, — первой поймала его паутина, натянутая меж двух колосьев: дрогнула, вспыхнула вся разом, от колоса до колоса, и засветилась, будто серебряная ниточка, протянутая с неба на землю, — по такой бы, кажется, и ангел сошёл. И покатила по лугам светлая волна — от края земли

до самого озера, быстрее птицы, тише дыхания: капля за каплей занималась, вспыхивала — и засверкали по травам тысячи, тысячи капелек солнца, будто все ночные звёзды упали в траву — и горят. Сквозь редкий дотаивающий туман, что плыл над лугами последним серебристым дымом, дрожали они от всякого, самого малого дыхания воздуха, и переливалась каждая по-своему, ни одна не повторяя соседку; пахло росною свежестью, отсыревшим за ночь колосом да тем ранним светом, у которого, може, и запаха нет — а всё одно пахнет. И в каждой капельке умещалось целое небо с зарёй.

А из-под подорожника выполз на обочину жук — тёмный, литой, в надкрыльях, начиненных, как воеводина бронь: встречать огромный сверкающий шар, что подымался над краем земли. Выполз, расправил усы и замер от важности: може, думал жук, для него одного тот шар и подымается.

Конское копыто вдавило его в землю — вместе с подорожником.

Шли по ржи кони — много коней. Шли не дорогой, а прямо хлебом, и спелая рожь ложилась под копыта, не охнув, целыми полосами. Всадники сидели в сёдлах литые, тяжкие: кольчатое железо на плечах, варёная кожа да бляхи, кривые клинки у бедра. За плечами — луки, колчаны полны, да не простыми стрелами: у иных наконечники обмотаны были чёрной просмоленной паклей. Ехали молча. Ни песни, ни говора, ни трубы — только сбруя позвякивала, скрипела кожа да гудела земля, принимая тяжесть. Такие гости всегда едут об эту пору — в самый глухой, самый сонный час, когда ночь уже кончилась, а день ещё не начался: чтобы поспеть до первых петухов.

Впереди, на широкогрудом гнедом, ехал сотник — жилистый, быстроглазый; глаза у него были жёлтые, волчьи, а через бровь шёл белый рваный рубец. С бугра он первым увидел деревню на холме — сонную, тихую: ни огонька, ни дымка, ни сторожа у околицы — и усмехнулся одними зубами.

А в сенях крайней избы, в дубовой кадке, дрогнула вода.

Дрогнула — и пошла от середины к краям мелкой рябью, кругами: круг, ещё круг, — и тихо тукнула в дубовую клёпку: тук. И ещё: тук-тук. Совсем как давешний ночной стук — только теперь стучалась в дом сама земля.

Молодой гость открыл глаза прежде, чем первый круг дошёл до края.

Миг — и он стоял на ногах, с посохом в правой руке; а следом, разом, без единого слова, как один человек, поднялись и все семеро. Никто не спросил, что стряслось: видать, они и во сне знали то же, что знала вода.

— Вставайте, братия! — сказал молодой, и тихий его голос заполнил избу до самой матицы. — Земля стонет: вороги идут. Молись да за меч берись — иные молитвы железом читаются!

А с печи глядел на них во все сорочьи глаза Алексашка — и увидел, как семь чёрных одеяний распахнулись разом и как лёг алый утренний свет на кольчатое железо. Не почудилось, стало быть, ночью.

А вода в кадке уже не дрожала — билась о края, расплёскиваясь, как малое море в бурю. Вода проснулась.

Глава третья

СЕЧА У ОЗЕРА

Тишина над деревней стояла ещё целая — да уже другая: не сонная, а натянутая, как тетива перед спуском.

Семеро в чёрном вышли из дедовой избы в серый рассветный свет — и разошлись по улице бесшумно, как ночью входили: по два двора на брата.

И пошёл по деревне стук. Тук. Тук-тук. В одно окно — и дальше, в следующее. Тем самым стуком, каким сами вчера на ночлег просились, будили теперь чёрные гости деревню:

— Вставайте, люди добрые! Вороги идут! Берите детей — и к озеру, к воде!

Разом взорвались лаем все собаки — все до единой, что смолчали ночью; загорланили петухи — дико, не по-утреннему, поперёк собственной песни; заревела в хлевах скотина. Деревня просыпалась не в день — в беду.

Дед Матвей уже стоял посреди избы — маленький, простоволосый, борода серебряным венником во все стороны, — а в руках его была рогатина, с какой ещё его отец на медведя хаживал. Он сдёрнул внука с печи, сунул ему тулупчик:

— К озеру, милый. Живо.

— А ты, деда?

— А я следом, — сказал дед и не поглядел ему в глаза.

В сенях Алексашку взяла за плечо рука — лёгкая, а не стряхнёшь. Молодой. Глаза его были те же, тихие, только теперь в них стояло небо с пожаром.

— Помнишь уговор?

— Вода... проснулась? — выговорил Алексашка.

— Проснулась, малый. Держись за меня. Обеими руками держись.

Первая стрела пришла со свистом, какого Алексашка не слышал никогда — тонким, злым, осиным, — и села в соломенную кровлю соседского двора. Огонь на ней не умер в полёте: пополз по соломе, попробовал её на зуб — и пошёл гулять. За первой пала вторая, третья, десятая; небо над улицей запело по-осиному всё гуще, и по сухим кровлям побежали рыжие петухи — те, каких в деревнях боятся пуще волка.

А по спелой ржи, ломая её конскими грудями, уже катилась на деревню чёрная волна — от края поля до самой околицы. И не было в той волне ни песни, ни крика, ни трубы — одна тяжесть.

У околицы встретили её семеро.

Как это было — Алексашка запомнил на всю жизнь, а рассказать после толком не умел: слов таких нет. Молодой шёл сквозь конных, как вода идёт сквозь камни: не спеша будто бы — а всюду поспевал, и нигде его не было там, куда рубили. Посох в его руках был один — а казалось, что их семь: пел в воздухе, встречал клинки, вынимал всадников из сёдел, и кони, ошалев, выносили седоков своих прочь без спросу. А старший, седой, стоял посреди дороги, как стоит мельничный жёрнов, — неподвижный почти, только руки в работе, — и что на него накатывало, то смалывалось и ложилось в пыль.

Подымалась и деревня. Выбегали мужики — кто с топором, кто с цепом, кто с косой, не докованной до жатвы; вставали рядом с чёрными гостями, и чёрное с белым мешалось в один заслон. Бабы гнали детей задами, огородами, вниз — к озеру: вода добрая, вода укроет. Туман над водой ещё держался, последний, серебристый, — и прятал в себе малых, как наседка цыплят.

Только не все добежали до воды. Осиное пение находило и посреди улицы — и там, где касалось оно бегущих, расцветали по белым рубашам красные маки.

Дед Матвей до озера не пошёл.

Он вывел из горящей соседской избы двух чужих малых — одного на руках, другого за ворот, — передал их с рук на руки чёрному гостю и обернулся в дым за третьим. И тут кровля, вся в рыжих петухах, охнула и села — разом, как садится в омут камешек.

— ДЕДА!!

Алексашка рванулся — и не сошёл с места: рука на плече была лёгкая, а не стряхнёшь. Молодой повернул его к себе и прижал лицом к чёрному своему одеянию, пахнущему дымом и дорогой.

— Не смотри, малый. Запомни его живым.

Прибежал откуда-то Полкан — прижался к Алексашкиной ноге всем телом и дрожал. Так они и стояли втроём один вздох — а больше времени сеча не дала.

Самая злая теснота сошлась у мостков, где сбегались к воде последние бегущие. Туда и повернул старший — и встал на дороге один против всех: пропускал за спину своих, а чужих не пускал. Пока стоял он — не прошёл никто: жёрнов молот ровно, без спешки, как всю жизнь молот. Тогда из-за плетней, не смея ближе, ударили в него стрелы — разом, со всех сторон.

И жёрнов стал.

Молодой поспел к нему прежде, чем старший коснулся земли, — принял на руки, опустил бережно, как сноп кладут. Старший поглядел на него снизу ясно, без боли, и сказал ровно, как хлеб дорезал:

— Тебе вести, брат. Детей сбереги. Остальное — приложится.

И жёрновый голос смолот последнее своё слово — и смолк.

Молодой закрыл ему глаза ладонью, поднялся — и был он с виду всё тот же: худой, невеликий, неказистый. Только конные, что катились на него от околицы, вдруг стали осаживать коней.

А сквозь дым, вдоль горящей улицы, ехал шагом сотник с рваной бровью — и один во всей чёрной туче глядел не на сечу. Сеча его не занимала: на сечу у него были нукеры. Жёлтые волчьи глаза ходили по дворам — где добро, где скотина, где полон покрепче да помоложе. У соседских ворот — тех самых, где вчера гремели вёдра и пелась на весь двор сомова песня, — он остановил гнедого и спрыгнул наземь, мягко, как спрыгивает кот.

И толкнул дверь.

А над озером, над горящими кровлями, над всею сечей подымался тем часом огромный сверкающий шар — тот самый.

Смотреть на землю ему было больно.

Глава четвёртая

ДВЕ СИРОТЫ

В избе напротив было темно и тихо — так тихо, как бывает только тогда, когда беда уже стоит за стеной и слушает.

Санька стоял посреди этой тишины и держал брата за плечо. За оконцем, за бычьим пузырьём, металось рыжее и чёрное; земля вздрагивала от копыт; где-то у озера пело злое осинное небо. Отец снимал с крюка топор — не спеша снимал, крепко, как перед большой работой. Мать стояла у образа и клала поклоны — быстро-быстро, будто хотела намолиться на всю жизнь вперёд.

— В подпол, — сказал отец, не оборачиваясь. — Оба. Живо.

— Батя...

— В подпол, Санька!

Санька рванул кольцо подпольной крышки — крышку заело: разбухла, сто лет не открывали. Он рвал её так, что побелели пальцы, и Андрейка рвал рядом, — и тут за дверью, у самого крыльца, мягко стукнули оземь две ноги. Так мягко, как спрыгивает кот.

И дверь толкнули.

Что было дальше, Санька видел — и не видел. Глаза его смотрели, а видеть отказывались; уши слышали — а слушать не стали. Запомнилось не всё, а куски, рваные, как во сне: топор отца, коротко блеснувший; мать, вставшую рядом с отцом, плечом к плечу, как в хороводе становилась; кривую саблю, что вошла в избу раньше хозяина; и тишину после — самую страшную тишину на свете, в которой слышно было только, как капает с лавки молоко из опрокинутой кринки.

Потом в этой тишине сказали ласково:

— Волчата.

Сотник с рваной бровью стоял посреди избы и разглядывал их, склонив голову набок. Сабля в его руке была тёмная, и с неё он не спускал глаз... нет — глаз он не спускал с мальчишек, а сабля жила у него в руке сама, как живёт у пса хвост.

— Добрые волчата, — сказал он по-русски, чисто, и оттого ещё страшнее. — На торгу за таких серебром платят. Ну — которого вперёд вязать?

Санька задвинул брата себе за спину, нашарил у печи ухват и выставил его перед собой. Руки ходили ходуном, а ухват — нет: ухват стоял как вкопанный.

— Ого, — сказал сотник и усмехнулся одними зубами. — Этого — вперёд.

Дверь не скрипнула, и половица не охнула. Просто в избе стало на одного больше.

Сотник почуял это спиной — и развернулся весь разом, одним движением, как разворачивается брошенный аркан. У порога стоял молодой — худой, невеликий, с дорожным посохом в опущенной руке. Стоял так, как стоят в очереди к колодцу: спокойно, никуда не спеша.

— Отойди от детей, — сказал он тихо.

Вместо ответа левая рука сотника метнулась от пояса — и через избу, в горло молодому, пошёл нож. Хорошо пошёл, скрытно, из-под локтя: этим броском сотник валил и не таких. Молодой чуть повёл головой — и снял нож с воздуха, как ягоду с ветки снимают. Поглядел на него, будто спрашивал, не стыдно ли, — и положил на лавку.

И тогда сотник пошёл вперёд — по-настоящему.

Быстрый он был — в этом ему врага искать долго: сабля его умела петь на восемь голосов, и в чистом поле от той песни ложились наземь бывалые ратники. Да только в чистом поле. А тут была изба: низкая матица над головой, лавки по стенам, печь в пол-избы, стол дубовый. Сабля любит простор, размах любит, свист, — а изба ей того не дала. Раз сверкнула она —

и врубилась в матицу; два сверкнула — и располовинила пустую кринку; три — и нашла то место, где молодого уже не было.

А посох простор не любил. Посох любил тесноту — и работал в ней коротко, по-плотнички: тук — и выбил у сабли верный угол; тук — и ушла из-под сотника лавка, что он оттолкнулся было; тук — и погасла свеча-лучина у печи, чтобы огонь врагу глаза не грел. Молодой не наступал и не пятился — он был просто всюду, где сабле тесно, и нигде, где ей вольно. Вода, скажет после Алексашка, чистая вода: поди — ударь её.

Сотник понял. Волк был старый, битый — он смахнул со стола кринку молодому под ноги, сам метнулся следом, низом, по-степному, с подрезом, — и на один короткий миг сабля всё-таки достала простор: у самого окна, где изба шире всего.

Только мига того молодому и было надобно.

Посох клюнул — коротко, как дятел клюёт, — в правое плечо, в самый его корень. Хрустнуло. Сабля прозвенела об пол — раз, другой — и легла у порога, кривая, тёмная, отслужившая. А конец посоха уже стоял у сотникова горла — не давил, не грозил: просто стоял, как стоит засов.

Изба помолчала. Капало с лавки молоко.

— Уходи, — сказал молодой так же тихо, как всё говорил. — И дороги сюда забудь.

Жёлтые волчьи глаза глядели на него снизу вверх — долго, внимательно, не мигая. Сотник не просил и не грозился: он запоминал. Лицо, голос, посох — по-волчьи запоминал, навсегда. Потом поднялся, придерживая повисшую руку, вывалился в дверь, в притоптанную спелую рожь, свистнул — коротко, в два пальца, — и гнедой вынес его прочь.

А следом, будто по тому же свисту, стала отливать от деревни вся чёрная волна. Набег любит сонных — а деревня проснулась зубастой: у околицы её зубы стояли до сих пор, чёрные с белым вперемешку, и ложиться под них охотников больше не было.

Молодой поднял с полу рядом, укрыл им у стены тех, кого укрыть было уже ничем нельзя, и повернулся к мальчишкам. Санька всё стоял с ухватом; ухват теперь ходил ходуном вместе с руками.

— На меня глядите, — сказал молодой тихо. — Оба. Вот так. Дышите со мной.

И столько было в его глазах серой тихой воды, что дышать и вправду стало можно.

* * *

Хоронили всем миром, на другой день, на пригорке над озером, — и отца с матерью, и деда Матвея, и старшего из чёрных гостей, и всех, кого не добудилась та заря. Столько крестов разом Заозерье не ставило ещё никогда. Жать в тот день не вышел никто: вместо жатвы был жальник, и первый сноп того года так и остался в поле несжатым.

Андрейка на погосте не плакал, как плачут дети. Он запел — само у него запелось, тонко, высоко, как голоса по покойнику старые бабки, только чище и страшнее: про красное утро, про рыжих петухов, про то, что мамка хлеб ставила, а вынимать некому. И вся деревня, что до того держалась, заплакала с его песни в один голос. А Санька не плакал и не пел. Он молчал. Он молчал так, что слышно было.

Молодой отыскал обоих у свежих крестов и присел перед ними на корточки, чтобы глаза были вровень.

— Не плачь, дитя: слезами землю не подымешь, — сказал он Андрейке, и голос его был тих, как всегда, а слышен весь. — И ты, молчун, не молчи так: молчанием её тоже не подымешь. Пойдёмте со мной. Научу вас, как за родную кровь стоять — чтоб ни один враг более над сиротской долей не смеялся.

Санька поглядел на него долго — по-взрослому, снизу вверх и всё же вровень. Потом отошёл к порогу родной избы, поднял с земли кривую саблю — она была ему велика, тяжела, не по руке — и принёс, волоча остриём по земле борозду.

— Брошу в озеро, — сказал он. Голос у него был сухой, как жнивье.

— Нет, — сказал молодой и покачал головой. — Носи. Только уговор: не для мести носи, а для памяти. Мечь — она как этот клинок: кривая. А память — прямая. Понесёшь?

Санька кивнул. И над лбом его, где вчера ещё было русо, светлела теперь узкая прядь — белая, будто мукой от жёрнова присыпало.

Тут же, у крестов, переминался с ноги на ногу Алексашка, а при нём — Полкан, тощий, подпалённый, с обгорелым ухом. Идти Алексашке было некуда, и он это знал, и все это знали.

— А нас... — начал он и не закончил.

— Идём, — сказал молодой прежде, чем договорено было. — Вода тебя знает.

* * *

Уходили под вечер, на полдень, гуськом по меже: впереди шестеро в чёрном со скатками, за ними Санька с саблей через плечо, Андрейка с отцовской шапкой в руках, Алексашка с Полканом — а замыкал молодой, и на посохе его, у самой рукояти, темнел резанный знак: волна. Рожь — что уцелела — кланялась им вслед.

А озеро за их спинами укладывалось опять в свои берега — тихое, чистое, ни морщинки. Вода уснула.

Глава пятая

ЧЁРНАЯ РИЗА

Тук. Тук-тук.

Только теперь это был не ночной стук в окно и не сполох беды. Это пел в глухом лесу топор.

Шли они от Заозерья долго — сперва межами, потом просёлками, потом и вовсе без дорог, всё на полдень да на восход, — и лето за ту дорогу истлело, как истлевает костёр: август дожёт себя дотла, и лес встретил их уже в золоте. Куда шли — знал один молодой. Он не искал села побогаче и обители поукромнее; он слушал. Станет у ручья — слушает. Подыметя на холм — слушает. И качнёт головой: не то.

А на холме Маковце, где лес стоял так густо, что и ветер продирался сквозь него шёпотом, он остановился и долго стоял, закрыв глаза.

— Здесь, — сказал наконец.

— А чего здесь-то? — не утерпел Алексашка. — Тихо, как в ухе.

— То-то и оно, — сказал молодой. — В тихом месте вода говорит. А в шумном — и колокола не слышать.

И верно: под холмом, в овражке, из-под серого камня бежал родник — малый, с ладонь, а живой и звонкий. Молодой напился из него первым, поклонился воде — а после вырезал ножом на старом дубу над оврагом знак: волну. Ту самую, что на посохе: воду бегучую, три гребешка.

С того дуба и пошла обитель.

Рубили кельи всю осень. Молодой плотничал так, что поглядеть приходили бы за сто вёрст — кабы знал кто про этот холм: топор в его руках не рубил, а пел, и брёвна ложились в паз с первого раза, как слова в хорошую песню. Шестеро чёрных братьев работали молча и спорю; мальчишки таскали мох да щепу; Полкан гонял по холму белок — для порядку.

— А молиться когда ж? — спросил как-то Алексашка, глядя, как молодой тешет венец. — Утром молились, а весь день — топором да топором.

— А ты думал, я что делаю? — сказал молодой, не разгибаясь. — Иные молитвы, малый, топором читаются.

К первым холодам стояли на холме три кельи да часовенка — малая, в шесть венцов, а тёплая, как рукавица. Пахло в ней свежей смолой, и смола на брёвнах выступала капельками — янтарными, светлыми: лес плакал по-хорошему, по-строительному.

Медведь пришёл ночью, в самое глухое время.

Сперва был звук: хрустнуло в овраге — тяжело, не по-заячьи. Потом задышало за стеной — большое, ровное, в два человеческих дыхания одно. Потом стена — добрая, из свежих брёвен стена — заскрипела: об неё чесались.

Полкан забился под лавку и оттуда храбро зарычал. Андрейка сел на постели белее рубахи. А Санька — Санька уже стоял у стены, и в руках его была кривая сабля, снятая с гвоздя.

— Погоди-ка, — сказал молодой и опустил его руку ладонью — мягко, как задувают свечу. — Не всякий, кто в темноте дышит, — ворог. Иной — гость.

Он взял с полки последний ломоть — хлеба у них к той поре оставалось на доньшке — и вышел в ночь. Мальчишки прилипли к оконцу, дыша через раз.

У крыльца, в звёздном свете, сидел медведь. Большой, как копна, тощий с осени, — и глядел на молодого снизу вверх, по-собачьи склонив башку. Молодой протянул ему ломоть на раскрытой ладони.

— Ешь, гость. Чем богаты.

Медведь понюхал, взял хлеб с ладони — бережно, губами, как лошадь берёт, — съел и вздохнул. И остался.

— Он же нас съест! — шёпотом закричал Алексашка, когда молодой воротился. — Он же зверь!

— Не съест, — сказал молодой. — Он голодный, а голодного кормят. Запомни, малый: накормленный сосед лучше воёванного.

Наутро медведь топал вокруг келий хозяином — проверял, всё ли ладно. Топал он знатно, на весь холм.

— Ишь, топает... — сказал Алексашка уважительно. — Топ да топ. Потап и есть.

Так и стал Потап. Хлеба ему выносили теперь каждый день — а он за то стерёг холм лучше всякого тына, и волчьи стаи первую пору обходили Маковец стороной.

* * *

По первому снегу пришёл на холм старый игумен Митрофан — из дальней пустыни, седенький, лёгкий, как первый снег и есть. Три дня он жил в обители, глядел, как живут; на четвёртый затеплили в часовенке все свечи, какие были.

Что там было — мальчишек не пустили, малы ещё. Слышали только пение — долгое, строгое, от которого щипало в носу; а после увидали: вышел из часовни их молодой в новой чёрной ризе, и лицо у него было такое, будто он издалека вернулся. Будто шёл-шёл всю жизнь — и дошёл.

— А... как звать-то тебя теперь? — спросил Андрейка робко.

— Мир звал Варфоломеем, — сказал молодой, и мальчишки впервые услышали это имя. — Ныне — Сергей. Имя переменял, а сердце то же: людей беречь.

Санька повторил про себя оба имени — как в ларец убрал. Сергей. Отец Сергей.

А по весне на холм стали приходиться люди. Кто с горем — тех Сергей выслушивал у родника, и уходили они легче, чем шли. Кто с силой да без места — те оставались: рубили себе кельи, вставляли в братний ряд. И для каждого у Сергея находилось дело по руке: кому топор, кому книга, кому — тихая наука, про которую в миру не рассказывали.

Мальчишек он до железа не допускал — и не серчать на то было нельзя, и серчали.

— Когда ж за сабли, отче? — не выдержал раз Санька. Сабля его так и висела на стене кельи, и он, проходя, всякий раз на неё глядел.

— Рано, — сказал Сергей, не оборачиваясь. Он всегда видел, кто куда глядит, хоть бы и спиной стоял. — Сперва — ведро.

И была им наука: носить от родника в гору полные вёдра — да так, чтобы воду не разбудить: «полное ведро неси, как спящего брата». Стоять на бревне через овраг — сперва просто стоять, после ходить, после ходить с ведром, а после — с закрытыми глазами: «ноги пусть глядят, у них своих глаз двадцать». Сидеть у родника тихо-тихо, покуда белка на плечо не сядет: «вот когда лес тебя за своего примет — тогда и разговор начнём». Вместо заморского чая грелись сбитнем, и Алексашка божился, что от сбитня наука идёт вдвое.

А у ручья, где намерзал по краям первый ледок, Сергей показал им камышину: мороз давил её, гнул к самой воде — а она кланялась и вставала, кланялась и вставала.

— Гляди, Санька: дуб вон треснул, а тростинка живёт. Будь тростинкой, покуда буря. Дубом успеешь.

* * *

А в самую глухую пору той первой зимы обитель испытали.

Сергей с двумя братьями ушёл в дальнее село за мукой — и заночевать бы им день да вернуться, но упала метель, и не стало ни дорог, ни неба. На холме остались четверо братьев, трое мальчишек, Полкан да Потап, спавший свою медвежью зиму в яме под елью.

Волки пришли на вторую ночь. Голод пригнал их: вой встал сперва далеко, по-за оврагом, потом ближе, потом со всех сторон разом — тонкий, злой, на многие голоса. Полкан оше-

тинился весь и рычал, не переводя духу. Меж чёрных стволов, там, куда не доставал отсвет, зажглись и поплыли парные зелёные огоньки.

И тогда сделалось в обители то, чему Сергей цену знал наперёд, а мальчишки узнали в ту ночь.

Санька взял у сений рогатину — ту, что тесал по дедовой памяти, — и встал у дверей, где щель широка. Стоял, как отец стоял, как дед Матвей стоял: молча, крепко, всю ночь — и рука не дрогнула ни разу. Андрейка держал у оконца огонь — лучину за лучиной, ровно, не давая тьме сомкнуться, — и пел. Само у него запелось, как на погосте пелось, только теперь не плач, а другое: колыбельную, мамкину, тихую. Голос его не дрожал — дыхание держало голос, как учено. А Алексашка носился от стены к стене с колотушкой и бил в неё то тут, то там, то у ворот, то у клетки — так, что послушать со стороны, ходило по обители человек двадцать сторожей, и все злые.

К утру вой отодвинулся, поредел — и стих. Метель легла. А в полдень воротился Сергей с братьями и мукой — и первым делом обошёл холм кругом, читая снег, как книгу: вот тут ходили, вот тут сидели, вот отсюда глядели — а ближе следа нет.

— Бой был? — спросил он.

— Не было, отче, — сказал Санька.

— Был, — сказал Сергей. — Самый первый ваш. И выигран чисто: все живы — и вы, и они. Страх держать — вот первая ратная наука, а вы её за одну ночь прошли.

И поглядел на Санькину рогатину, на Андрейкины прогоревшие лучины, на Алексашкину колотушку — и ничего больше не сказал. А на завтра начал учить их по-настоящему.

А под снегом, под серебряным его одеялом, тёк себе с холма родник — малый, живой, неусыпный.

Вода дорогу знает.

Глава шестая

СТРЕЛА

Годы на Маковце текли, как родник под снегом: тихо, а без остановки.

Год за годом одевался лес в золото и ронял его, и заметал холм снегами, и опять сходил снег в овраги, — и не заметил никто, в какой из тех годов мальчишки перестали быть мальчишками. Санька перерос всех братьев в обители и раздался в плечах так, что в дверь кельи входил уже вполоборота; по бревну через овраг он ходил теперь с двумя вёдрами хоть в бурю — и вода в вёдрах спала. Андрейкин голос ломался-ломался, да и выломился в такой, что когда Андрейка пел за работой, братья бросали работу, а Потап вылезал из своей ямы и слушал, положив башку на лапы. А Алексашка выучился ходить по лесу так, что белки замечали его, лишь когда он их уже гладил, — и знал в округе каждую тропу, каждый брод и каждую сплетню на три села вперёд.

Выросла и обитель: встали кельи венцом вокруг часовни, поднялся тын, раскорчевали поле под рожь, завели пчельник — и мёд с него шёл такой, что пчёлам кланялись. В келье у Сергия переписывали книги; у родника всё так же выслушивалось людское горе; а тихая наука шла своим чередом, и до железа Сергей по-прежнему никого из троих не допускал. Сабля висела на стене. Санька глядел.

* * *

А на исходе того лета выехал на большую охоту молодой князь Дмитрий.

Был он из тех князей, про кого в народе говорят: этому бы соколом родиться, да родился с державой в руках. Молод — борода смоляная только-только завилась; в седле сидел как влитой; стрелял так, что старые сокольники прятали глаза от зависти. И была в нём в то утро злость — не на кого-нибудь, а на всё разом: на дань, что увезли по весне в Орду возами; на бояр, что с утра до ночи учат жить; на самую свою молодость, которой все попрекают. Такая злость ищет, обо что разбиться, — за тем и выдумана охота.

Выезжали затемно, по чину, как деды заповедали. Впереди — старый ловчий Ермолай, суровый, в буром суконном кафтане, с турьим рогом на серебряной перевязи: на лову ему и князь не указ, так исстари повелось. За ним — сокольники в зелёных кафтанах, и у каждого на кожаной рукавице дремлет птица под клобучком с алой кисточкой — дремлет и вздрагивает: снится ей высота. Следом псари ведут гончих-выжлецов на смычках — те уже голоса вполголоса, стонут от нетерпения; борзые-хорты идут молча, поджарые, как натянутые луки, и только дрожь ходит по их шелковистым бокам. Позади — стремянные с рогатинами и лёгкими сулицами, возки, заводные кони.

Сам князь ехал в червлёном охотничьем кафтане, в шапке с собольей опушкой; за спиной — тул со стрелами, и на каждой стреле орлиное перо; у седла — лук в налучье да сабля в простых ножнах: на лову злато не носят. Утро стояло высокое, вымытое росой; восток наливался соком, как спелая брусника; и над всем поездом висел весёлый озноб — тот, что бывает только перед охотой да перед праздником.

А на княжьей рукавице сидел кречет Белыйш — белый, как его имя, с далёкой Печоры: из тех птиц, за которых дают табун коней и ещё кланяются. Последний он был у князя. Трёх его белых братьев по весне увезли с данью в Орду. Про то на дворе вслух не поминали.

На заречном болотце подняли уток. Ермолай глянул: пора. Князь снял с кречета клобучок — и Белыйш увидел небо. Всё сразу: и высоту, и ветер, и утиный караван над плёсом. Он оттолкнулся от рукавицы так, что она загудела, и пошёл вверх кругами, винтом, всё выше — покуда не стал в подоблачье белой искрой. И замер. И всё поле замерло с ним, задрав головы: псари, стремянные, кони. Даже выжлецы смолкли. Одни утки шли над плёсом низко, тяжело — не чуя над собой судьбы.

И искра сложила крылья.

Пал он молнией — белой, живой. Свистнуло, будто небо распорол по шву; воздух ахнул — удар! — и над плёсом закружился пух, метель посреди лета. Бельшш описал круг почёта — знал, красавец, что глядят, — и вернулся на рукавицу, весь ещё дрожа от собственной молнии. И князь засмеялся — просто, как мальчишка. И злость его утренняя вышла с тем смехом но не вся.

А после полудня набросили выжлецов на олений след — свежий, ночной. Сперва было тихо. Потом в острову тонко, с плачем, завёл один; подхватил другой, третий, залился весь смычок — и заварилась по лесу музыка гона, какой ни на каких гуслях не сыграть: то соберётся в один голос, то рассыплется на двадцать, то плачет, то торжествует. И у всякого, кто её слышал, сердце подымалось и летело следом.

Князь скакал краем острова, пригнувшись к самой гриве. Мир нёсся навстречу и мимо: мелькали первые золотые берёзы, хлестал по плечам орешник, земля летела из под копыт; слёзы от ветра стояли в глазах, и оттого весь лес плыл и сиял, как сквозь слюдяное оконце. Конь стлался, счастливый не меньше седока; позади пел рог Ермолая; где-то слева, невидимый, ломил чащей рога. Кровь пела в лад гону. Не было на свете ни дани, ни Орды, ни бояр с поученьями — было утро, конь, гон и весь белый свет разом, и свет тот был молод, как сам князь. Кто на лову не бывал — тому не понять; а кто бывал — тот до седых волос помнит.

Олень вёл через весь остров, через овражки, через старую гарь — и вывел к глухому лесу, что синел за болотцем стеной. И гон оборвался. Разом, весь — как ножом отрезало. Выжлецы заматались у опушки, ткнулись носами в траву, заскулили — и сели, виновато оглядываясь: следа не стало. Будто зверь с земли на небо ступил. Хорты кружили пустыми кругами. Ермолай подъехал, поглядел на опушку из-под седой брови — и снял шапку.

— Всё, княже. Дальше лова нет.

— Это отчего же?

— Лес не ловчий. Зверь в него уходит, как в церковь, и след за ним Бог стирает. Деды тут вабить не смели — и нам не велели. Поворачивай, княже.

Но у князя от оборванного гона гудело внутри: отнятая радость злее всякой обиды. Он махнул Ермолаю — становись табором — и с двумя стремянными поехал шагом вдоль опушки. Остыть.

Не остылось.

А придержал он коня оттого, что на опушку, из-под тёмных ветвей, вышла олениха.

Она вышла не таясь — шагом, как выходит хозяйка на своё крыльцо. В сочных травах у опушки стояла она по колено, рыжая, гладкая, и свет играл на её боках; а следом выкатился оленёнок — тонконогий, в белых пятнышках, что первый снег на рябине. Ткнулся матери в бок и стал сосать, подрагивая хвостиком.

Стрела легла на тетиву сама — рука сделала всё без хозяина, как приучена была. Князь повёл луком, выбирая, — и тут олениха подняла голову.

И поглядела ему прямо в глаза.

Не шарахнулась, не понесла оленёнка в чашу — стояла и глядела через болотце, через полсотни шагов, прямо в княжьи глаза, тёмным своим, глубоким, безо всякого страха глазом. Так глядит не добыча. Так глядит тот, кто у себя дома.

У князя дрогнуло что-то под сердцем — и оттого, что дрогнуло, злость взяла верх: ах так?

— Княже... — Старший стремянный тронул коня ближе; голос его был тих, как в церкви. — Матку при дитяти не быют. Исстари не быют.

— А меня спросили, — сказал князь, не спуская глаз со зверя, — когда моих кречетов в Орду увозили? То-то. Исстари...

Тетива скрипнула, дошла до уха.

И он спустил.

Стрела пошла низко, хищно, по-соколиному — князь бил без промаха и знал, куда бьёт. Стрела стала в воздухе.

Не упала, не свернула, не ушла в землю — стала, в пяди от рыжей оленьей груди, и дрожала, дожёвывая свой полёт. Держала её человечесья рука.

А откуда взялся сам человек — того не видел никто. Не подошёл, не выбежал, не поднялся из травы: мгновение назад опушка стояла пустая — князь поклясться мог, что пустая, до последней былинки. И вот — стоял. Меж стрелой и оленихой, в чёрном одеянии, худой, неказистый: в толпе встретишь — не оглянешься. И стоял он так спокойно, будто век тут стоял, — будто не он явился на опушку, а опушка объявилась вокруг него.

Олениха не побежала и тут. Повела ухом, поглядела на человека в чёрном — как на своего поглядела — и пошла с оленёнком вдоль опушки, шагом, не спеша, будто ничего над её жизнью только что не пролетало.

— Ты... — У князя сел голос; он толкнул коня вперёд, через болотце. — Кто смеет княжью стрелу останавливать?!

— Тот, кому всякая жизнь — что оленья, что людская — равно дорога, княже, — сказал человек тихо, а слышно было через всё болотце, до последней буковки. — Опустил лук: не всё, что бежит, — добыча.

— Да ты знаешь ли, на кого?.. — задохнулся князь.

— Знаю, — сказал человек. — Оттого и говорю: княже. Земле твоей защитник надобен, а не охотник. Захочешь понять — лес дорогу укажет.

Тут подоспели стремянные, и старший, опомнясь, вскинул рог. Рог заревел; из-за перелеска, гремя, вынеслась погоня — десяток гридней в бронях, засидевшихся без дела за дурной гон.

— Взять чернеца! — крикнул старший. — Целого взять, не увечить!

А дальше сделалось то, о чём гридни после рассказывали всяк своё, и все ввали, потому что правде никто бы не поверил.

Человек в чёрном не побежал. Он пошёл — в лес, шагом, как по своему двору. Но как ни гнали кони — расстояние не менялось: десять шагов было до него на опушке, десять осталось в чаще. Ветви, что он отводил рукой, возвращались точно в срок — не по глазам хлестнуть, а перед мордой коня, и кони вставали свечой. Первый гридень бросил аркан — бросил ловко, по-степному выучен был: аркан обнял еловый пень, а пень тот стоял справа, где человека отродясь не было. Двое зашли клещами, с двух сторон разом, — и съехались нос к носу, а меж ними было пусто. Овраг конные брали в обход, надеясь отрезать, — а он перешёл овраг по лежащему бревну, не сбавив шагу, как по мосту царскому.

А у ручья следы кончились.

Просто кончились: вот шёл человек — трава примята, вот ступил на песок — два следа босых лаптей... и всё, и ручей журчит, и лес стоит, и никого. Растворился, как соль в воде.

— Леший, — выдохнул молодой гридень и перекрестился.

— Не леший, — сказал старший, слезая с коня. — Хуже, брат. Лихо, нечистая сила.

На песке у самой воды было начерчено — посохом, видать: волна. Вода бегучая, три гребешка. Старший нагнулся разглядеть — а ручей плеснул, слизнул рисунок и унёс. Был знак — и нет знака.

Князь сидел в седле у ручья и молчал. Злость его вся вышла — как воду из ведра вылили; а на месте злости, на пустом, вставало другое, чему он и имени пока не знал. Стрелу его — лучшую, с орлиным пером — человек в чёрном унёс с собою, и первый раз в жизни князю Дмитрию хотелось не добыть.

Понять хотелось.

— Сыскать, — сказал он наконец, тихо. — Не для казни. Для разговора.

Глава седьмая

КНЯЗЬ ПРИХОДИТ К СТАРЦУ

Три дня искали княжьи люди дорогу в тот лес — и три дня лес их водил.

Тропы заворачивали кольцом и выводили туда же, откуда вошли. Просеки упирались в бурелом. Болотца, где вчера пеший проходил посуху, нынче чавкали под копытами и не пускали. Ермолай ехать отказался наотрез — «в тот лес, княже, вабить нельзя, и войском ломиться нельзя, сам к тебе выйдет, коли захочет», — и князь злился на старика, а в глубине души знал: прав старик.

А на четвёртое утро, на тропе, где вчера никакой тропы не было, сидел на пенёчке рыжий вихрастый парень, грыз орехи и никуда не спешил. У ног его лежал лохматый пёс с обгорелым ухом.

— Заплутали, гости? — спросил парень весело, будто с утра тут для того и сидел. — А вас ведь заждались уже. Хлебы вторые пекут.

— Кто заждался? — насторожился князь. — Откуда про нас ведомо?

— Сорока на хвосте принесла, — сказал парень, ссыпая орехи за пазуху. — У нас сороки грамотные. Езжай за мной, княже, да коней придержи: тут корни.

Лес, что три дня стоял стеной, расступался перед рыжим, как вода перед лодкой. И часу не прошло — открылся холм: тын из вековых брёвен, кельи венцом вокруг малой часовни, прямой мирный дым над кровлями, запах свежего хлеба на весь лес. На старом дубу у ворот темнел резаный знак: волна, три гребешка. А у самых ворот, привалившись к тыну, спал медведь — большой, как копна.

Гридни разом взялись за рукояти. Медведь открыл один глаз, поглядел на десяток вооружённых конных — и зевнул во всю пасть, с подвывом. И спал дальше.

— Не замай его, — сказал рыжий. — Это Потап. Он у нас вместо ворот: кого надо — пустит.

А в воротах уже стоял тот самый человек. Худой, невеликий, в чёрном, — в толпе встретишь, не оглянешься. Он поклонился князю не низко и не гордо — ровно, как равному, — и протянул на раскрытой ладони стрелу. Ту самую, с орлиным пером.

— Твоё, княже. У нас чужого не держат.

Князь взял стрелу и почувал, что уши у него горят, как у мальчишки, пойманного в чужом саду. Сердился он на это полдороги — а тут вдруг отпустило: сам не понял отчего. Может, от хлебного духа. Может, оттого, что здесь его ждали — не боялись, не льстили, а просто ждали, как ждут гостя.

— Как звать тебя, отче? — спросил князь.

— Сергием кличут.

— А наука твоя... откуда она, Сергей? Такой на Руси не видано.

— Отчего ж не видано, — сказал Сергей, и в тихих глазах его прошла усмешка, как рябь по воде. — Наука ходит по свету дальними дорогами, а корни у неё, княже, всегда здешние. Про то долго сказывать. Ты ведь не за сказкой ехал — ты поглядеть хотел.

— Хотел, — сознался князь.

— Ну так и поглядим друг на друга, — сказал Сергей. — Твои удаль покажут, наши — свою. Только уговор: у нас до крови не играют. У нас и без крови весело.

* * *

На широком дворе, меж келий и поленниц, стало в тот день тесно от народа: княжьи гридни — кольчуги сняли, остались в цветных рубахах — да чёрное братство вперемешку. Посреди двора расчистили круг, посыпали песочком. Потап перебрался поближе и сел, как боярин в первом ряду.

Первым вышел от князя Гюрята — первый силач дружины, шея как у тура, ладони как лопаты; сказывали, подковы он ломал со скуки. От братства напротив встал Санька — молодой, русский, с белой прядью надо лбом. Гюрята поглядел на него сверху вниз, добродушно, как глядят на телёнка.

— Ты, что ль, боец? Не зашибить бы.

— Не зашибёшь, — сказал Санька. — Слово — олово.

Сошлись. Ладонь легла в ладонь — и по двору прошёл гул, будто жёрнов о жёрнов стукнули. Взялись на поясах, по-честному, и пошли по кругу — грузно, вминая песок; двор затаил дух, один Потап сопел, как кузнечный мех.

Гюрята дёрнул — у иного бы душа вон: Санька качнулся, как камышина, и устоял. Гюрята сгрёб его в охапку и оторвал от земли вовсе — двор ахнул: конец! А Санька не забился, не напрягся — обвис, потёк, как вода из горсти, и ноги сами нашли землю. И в тот же миг, не дав горе вдохнуть, он повернулся весь разом, в один мах, — и гора, потеряв под собой землю, перелетела через его бедро и легла на песочек, во весь свой немалый рост. Песок поднялся облаком. Двор охнул — и грохнул. Потап одобрительно рывкнул.

Гюрята сел, помотал головой, поглядел на небо, на Саньку, опять на небо. И захохотал — громово, от души. Встал и облапил Саньку так, что у того рёбра пискнули:

— Ну, брат!.. Как звать тебя, чудо?

— Санькой... — сказал Санька, и двор грохнул со смеху.

— У нас его кличут Пересветом, — сказал Сергей с крыльца. — До света встаёт, всех пересвечивает. Так и запомни, Гюрята: Пересвет.

Вторым от князя вышел Твердыта-мечник — лучший клинок дружины, быстрый, самолюбивый. Ему поднесли потешный деревянный меч — он и брать не стал, поморщился: деревом, мол, отродясь не бился.

— И не бейся, — сказал с крыльца Сергей. — Возьми свою. Жердь не обидится.

Двор загудел: сабля против палки — виданное ли дело? А против Твердыты уже стоял Андрейка с простой длинной жердью, с ослопом, — и вышел он не как на бой, а как на пляску: пристукнул, прищёлкнул да ещё и запел.

Первая сшибка была — как гроза по крыше. Сабля сверкнула трижды в один вздох: сверху, сбоку, снизу. И трижды пропела впустую: жердь под удар не подставлялась — она его провожала. Наклонно, вскользь, с поклоном — и сабля съезжала по дереву, как санки с горки, и рубила воздух да песок.

— Славный удар! — кричал Андрейка, отпрыгивая. — А этот ещё славней! А этот куда ж ты, дяденька, — соседям в огород?

Твердыта был по правде хорош: вился вокруг жерди, как оса, менял руку, заходил снизу — двор жмурился и ахал. Да на всякую его молнию находился у жерди свой гром: тычок пяткой ослопа в плечо — легонько, будто дверь притворил; подсечка — и мечник садился в песок, сам не поняв как; а меж схватками — куплет, складный да обидный, про то, как комар медведя воевал. Раз Андрейка нырнул под верёвку сушила — Твердыта рубанул сплеча, перерубил верёвку, и мокрая рубаха, слетев, накрыла его с головой, как невод. Двор лёг со смеха. Покуда мечник выпутывался, Андрейка допел куплет и раскланялся на все четыре стороны.

А кончилось по-честному, одним махом. Твердыта собрался весь и пошёл в последний, самый злой выпад — жердь встретила клинок, скользнула по нему винтом, обвила, как хмель обвивает тын, — и сабля, вывернувшись из руки, взлетела над двором, перевернулась в воздухе... и легла рукоятью в подставленную Андрейкину ладонь. Двор охнул. А Андрейка поклонился и подал её хозяину — рукоятью вперёд, как подобает.

— Знатный клинок. И хозяину под стать: ты по правде хорош, Твердыта, я таких быстрых не видал.

— Да что ж ты... палкой! — только и выдохнул Твердята, принимая саблю, красный, как его рубаха. — Меня — палкой!..

— Не палкой, а ослопом, — поправил Андрейка с достоинством.

И Твердята, отходчивый, как все быстрые люди, вдруг усмехнулся — и подал ему руку.

А третьим от князя вышел Нечай — десятник, ловкач и хитрован, каких в дружине один на сто: жилистый, вертлявый, глаза быстрые. Против него братство выставило Алексашку. Тот вышел в круг, поклонился на все четыре стороны, а шапку снял и держал в руке — ни дать ни взять скоморох на ярмарке.

— И как биться станем, огонёк? — прищурился Нечай.

— А я драться не мастер, дяденька, — сказал Алексашка смиренно. — Ты меня только тронь разок — и твоя победа. Пальцем тронь. Хоть шапку сбей.

Двор хмыкнул: делов-то. Хмыкнул и Нечай — и метнулся, как хорёк: хватъ! А там, где был Алексашка, висела в воздухе одна шапка; сам он стоял уже сзади и обмахивал Нечая ладошками, как боярина в бане веником: не угодно ли поддать?

И началось. Нечай кидался — Алексашка перетекал. Нечай ловил — ловил воздух. Нечай погнал его вдоль огорода — Алексашка перемахнул через гусиный выводок, что пасся у тына, а Нечай влетел в самую его середину. И тут ему стало не до Алексашки: гусак — воин почище иного ордынца — вцепился ему в штанину, гусыни поднялись крылом и шипом, и лучший ловкач дружины отступал от птичьего войска задом наперёд, отмахиваясь обеими руками, под общий гогот двора. Опомнясь, он загнал-таки беглеца в угол, меж поленницей и корытом, и прыгнул, растопырившись, как на курицу: хватъ!! В горсти оказалась шапка. Сам он — в корыте. А вода из корыта — на нём, вся до капельки. Алексашка тем часом сидел уже на поленнице и сокрушался сверху дурным голосом: ай, беда-то, дяденька, водичка студёная, не застудился бы ты, роди-имый...

— Да что ж ты вертишься, юла базарная!! — взревел Нечай, мокрый, страшный и смешной разом.

И — со злости, себя не помня — выхватил саблю. Настоящую, боевую. Двор ахнул; гридни привстали; князь подался вперёд. Один Сергей на крыльце не двинулся — только глаза его сузились, как у человека, что стоит у самой воды, готовый шагнуть.

А Алексашка не испугался — зауродствовал пуще прежнего: кланялся в пояс, крестился размашисто, причитал: ой, смертынька моя пришла, ой, шапку-то кому отпишу, сиротскую!.. — и при том утекал от клинка так, будто клинок был не быстрее осенней мухи. Сабля свистела — и рубила пустое. Раз — снесла крапиву у тына (из-за тына тут же: «спаси-ибо, дяденька! давно жгётся, окаянная!»). Два — смахнула жердину, где сушились кринки, и кринки брызнули черепками («посуду-то за что, дяденька?! посуда-то каким боком?!»). А на три — вошла с маху в берёзовое полено и стала намертво. Нечай дёргал её, упершись ногой, сопя и богатырствуя, — а Алексашка стоял рядом, заглядывал снизу и советовал сердобольно: ты с вывертом тyani, дяденька, с вывертом да с молитовкой...

Сабля так и осталась в полене. Нечай погонялся ещё сколько-то с голыми руками — всё медленней, всё тяжелее, хватая ртом воздух, как рыба, — и наконец стал посреди круга. Качнулся. Сел. А после и лёг — на спину, руки раскинув, глядя в высокое небо. Над двором повисла тишина: за весь бой Алексашка не ударил ни разу — и его не коснулись ни разу.

— По... беда... твоя... — выговорил Нечай с земли.

— Что ты, дяденька, — сказал Алексашка, присаживаясь рядом на корточки и надевая наконец шапку. — Победа твоя: эвон ты меня как загонял, я аж взопрел. — И крикнул через плечо: — Квасу дяденьке! Заслужил!

И поднёс ковш собственноручно. Нечай пил, глядел на него поверх ковши — и вдруг засмеялся, лёжа, слабо и счастливо: понял человек, что его обыграли вчистую, пальцем не тронув, и что злиться тут не на что — можно только шапку снять. Двор хохотал так, что с берёз

листва посыпалась. Громче всех, обнявшись, хохотали Гюрята с Пересветом. Потап ворчал: разбудили, боярина, на самом интересном сне.

* * *

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.